

Собачье сердце

Автор:

Михаил Булгаков

Собачье сердце

Михаил Афанасьевич Булгаков

Список школьной литературы 7-8 класс

Повесть «Собачье сердце» – одно из самых известных и запоминающихся произведений в творчестве Михаила Булгакова. С неподражаемым сарказмом и юмором Булгаков описал небывалый рискованный эксперимент профессора Преображенского по превращению собаки в человека, создав великолепную пародию на парадоксальную обстановку Советской России 30-х годов. Жестокий опыт по выведению новой «породы» людей показывает, что нельзя безнаказанно экспериментировать с природой и менять Божий Промысел в угоду политическим целям. Детища подобных экспериментов способны уничтожить своих создателей.

Михаил Булгаков

Собачье сердце

1

У-у-у-у-у-у-гу-гу-гугу-уу! О, гляньте на меня, я погибаю! Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с нею. Пропал я, пропал! Негодяй в грязном колпаке, повар в столовой нормального питания служащих Центрального совета народного хозяйства, плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина,

а еще пролетарий! Господи Боже мой, как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, вою, да разве воем поможешь?

Чем я ему помешал? Чем? Неужли же я обожру Совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире! Вор с медной мордой. Ах, люди, люди! В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо – грибы соус пикан по три рубля семьдесят пять копеек порция. Это дело на любителя – все равно что калошу лизать... У-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы, и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная очень хорошая трава, и, кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не гримза какая-то, что поет на кругу при луне – «милая Аида», – так что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда же пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбою своею мирюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело мое – изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что: как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь. Человечьи очистки – самая низшая категория. Повар попадается разный. Например, покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас! Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая

личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании, уму собачьему непостижимо! Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают! Бегут, жрут, лакают!

Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести! Прибежит машинисточка, ведь за четыре с половиной червонца в «Бар» не пойдешь! Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопают. Подумать только – сорок копеек из двух блюд, а они, оба эти блюда, и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать пять копеек заведующий хозяйством уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовке накормили, вон она, вон она!! Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, так, кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй. Он и заорет:

– До чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду – все, все на женское тело, на раковые шейки, на «Абрау-Дюрсо»! Потому что наголодался в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль. Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому, что действительно мы в неравных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну, а мне, а мне! Куда пойду? Битый, обваренный, оплеванный, куда же я пойду? У-у-у-у!..

– Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик! Чего ты скулишь, бедняжка? А? Кто тебя обидел?.. Ух...

Ведьма – сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

– Боже мой... какая погода... ух... и живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась за ворота, и на улице ее начало вертеть, рвать, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и издохнет, в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезли из глаз и тут же засохли. Испорченный бок торчал свалевшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна от вара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара! «Шарик» она назвала его! Какой он, к черту, Шарик? Шарик – это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляпка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо ей на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже вернее всего – господин. Ближе – яснее – господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам – тут уж ни вблизи, ни издали не спутаешь! О, глаза – значительная вещь! Вроде барометра. Все видно – у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься – получай! Раз боишься, значит, стоишь... Р-р-р... гау-гау.

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет та-акой скандал, в газеты напишет – меня, Филиппа Филипповича, обкормили!

Вот он все ближе, ближе. Этот ест обильно и не ворует. Этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с культурной остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели

от него летит скверный, – больницей и сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое?! Кол-ба-су. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне!

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пес полз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей. А в сущности, зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы – величина мирового значения, благодаря мужским половым железам... У-у-у-у... Что ж это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние, и подлинно, грех? Руки ему лизать, больше ничего не остается.

Загадочный господин наклонился ко псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок! О, бескорыстная личность. У-у-у-у!

– Фить-фить, – посвистал господин и добавил строжайшим голосом: – бери! Шарик, Шарик!

Опять «Шарик»! Окрестили! Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок...

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не проглотил веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

– Будет пока что, – господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пылливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

– Ага, – многозначительно молвил он, – ошейника нету, ну, вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной, – он пощелкал пальцами, – фить-фить!

За вами идти? Да на край света, пинайте меня вашими фетровыми ботиками в рыло, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одною мыслью, как бы не утратить в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик, у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный, кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Пес Шарик свету невзвидел при мысли, что богатый чудаков, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго, и этого вора прихватит с собой, и придется делиться моссельпромским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, вздрался по трубе до второго этажа.

Фр-р-р... гау... вон! Не напасешься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке!

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окошка, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять. Эх, чудаков. Это он меня подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни

прикажете.

- Фить-фить-фить, сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

- Фить-фить!

Сюда? С удово... Э, нет! Позвольте. Нет! Тут швейцар. А уж хуже этого ничего нет на свете. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живо дер в позументе!

- Да не бойся ты, иди!

- Здравия желаю, Филипп Филиппович.

- Здравствуйте, Федор.

Вот это личность! Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля? Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцара вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец ни звука, ни движения. Правда, в глазах у него пасмурно, но в общем он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз ты морду уродовал мне, а?

- Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок. С лестницы вниз:

- Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу - почтительно:

– Никак нет, Филипп Филиппович. (Интимно вполголоса вдогонку): А в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

– Ну-у?

Глаза его округлились и усы встали дыбом. Швейцар снизу задрал голову, приложил ладошку к губам и подтвердил:

– Точно так. Целых четыре штуки.

– Бо-же мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну, и что же они?

– Да ничего-с!

– А Федор Павлович?

– За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

– Черт знает что такое!

– Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, постановление вынесли, новое товарищество. А прежних в шею.

– Что делается! Ай-яй-яй... Фить-фить...

Иду-с, поспешаю. Бок, изволите ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу, на мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот бельэтаж.

Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не умеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью «М.С.П.О. Мясная торговля». Повторяем, все это не к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензином дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там, у братьев, пес отведаль изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре, тут же, Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной», и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки, – «М».

Далее пошло еще успешнее. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, а потом уже «б» (подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер).

Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «С-ы-р». Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного, зверей-приказчиков, ненавидящих собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн.

Если играли на гармонике, что было немногим лучше «милрой Айды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «Неприли...», что означало: «Неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях, – псов же постоянно – салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины – гау-гау... га... строномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и – ви, нэ-а – вина... Елисеевы братья бывшие...

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещающейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розоватым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: пэ-ер-о – «Про...». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая.

«Неужто пролетарий? – подумал Шарик с удивлением, – быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь пролетарием и не пахнет. Ученое слово, а бог его знает, что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколочке предстала перед псом и господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да. Это я понимаю», – подумал пес.

– Пожалуйста, господин Шарик, – иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого полу, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные олени рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

– Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? – улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на черно-бурой лисе с синеватой искрой. – Батюшки, до чего паршивый!

– Вздор говоришь. Где же он паршивый? – строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

– Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм... Это не парши... да стой ты, черт... Гм... А-а! Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смиренно!

«Повар, каторжник. Повар!» – жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.

– Зина, – скомандовал господин, – в смотровую его сейчас же и мне халат!

Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной комнате, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э... нет... – мысленно взвыл пес, – извините, не дамся! Понимаю! О, черт бы взял их и с колбасой! Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»

– Э, нет! Куда?! – закричала та, которую называли Зиной.

Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым правым боком так, что хрястнуло по всей квартире. Потом, отлетев назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.

– Куда ты, черт лохматый?! – кричала отчаянно Зина. – Вот окаянный!

«Где у них черная лестница?..» – соображал пес. Он размахнулся и комком ударился наобум в стекло в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью,

которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

– Стой! С-скотина! – кричал господин, прыгая в халате, надетом в один рукав, и хватая пса за ноги, – Зина, держи его за шиворот, мерзавца!

– Ба... Батюшки!.. Вот так пес!

Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его, и всю комнату наполнило сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тянул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная мерзость неожиданно перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились и он поехал куда-то криво и вбок.

«Спасибо, конечно, – мечтательно думал он, валясь прямо на острые стекла, – прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы! Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы живодеры, за что ж вы меня?»

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

* * *

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто и не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети, – подумал он смутно, – но ловко, надо отдать им справедливость».

– «От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей», – запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были подвернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом.

«Угодники! – подумал пес. – Это, стало быть, я его кусанул, моя работа. Ну, будут драть!»

– «Р-раздаются серенады, раздается стук мечей!..» Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?..

– У-у-у-у, – жалобно заскулил пес.

– Ну, ладно. Опомнился – и лежи, болван.

– Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? – спросил приятный мужской голос, и триковые кальсоны откатились книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.

– Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделаться нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный или даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил:

– Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

– Только попробуй! Я тебе съем! Это отравка для человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребенок, тащит в рот всякую гадость. Не смей! Предупреждаю, ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит. «Всех, кто скажет, что другая здесь сравняется с тобой!..»

Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

- Фить, фить... ну, нечего, нечего! Идем принимать.

Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожал, но быстро оправился и пошел следом за развевающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего, он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятым оказалась громаднейшая сова, сидящая на стене на суку.

- Ложись, - приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошел тот тятнутый, оказавшийся теперь, в ярком свете, очень красивым, молодым, с черной острой бородкой, подал лист, молвив:

- Прежний... - тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

«Нет, это не лечебница... куда-то в другое место я попал, - в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана, - а сову эту мы разъясним...»

Дверь мягко открылась, и вошел некто настолько поразивший пса, что он тяткнул, но очень робко.

- Молчать! Ба-ба-ба! Да вас узнать нельзя, голубчик!

Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу.

- Хи-хи... Вы - маг и чародей, профессор, - сконфуженно вымолвил он.

- Снимайте штаны, голубчик, - скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

«Господи Иисусе! - подумал пес. - Вот так фрукт!»

На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали ржавым табачным цветом. Морщины расплзались по лицу у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского шелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

- Тяу, тяу... - он легонько потявкал.

- Молчать! Как сон, голубчик?

- Хе-хе... Мы одни, профессор? Это неопиcуемо, - конфузливо заговорил посетитель. - Пароль д'оннёр[1 - Честное слово (от фр. parole d'honneur).] двадцать пять лет ничего подобного! - субъект взялся за пуговицу брюк. - Верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями... Я положительно очарован. Вы - кудесник!

- Хм, - озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладал наконец с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались не виданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками, и пахли духами.

Пес не вынес кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

- Ай!

- Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

«Я не кусаюсь?..» - удивился пес.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.

– Вы, однако, смотрите, – предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, – вы все-таки смотрите не злоупотребляйте!

– Я не зло... – смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться, – я, дорогой профессор, только в виде опыта...

– Ну и что же, какие результаты? – строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

– Двадцать пять лет, клянусь Богом, профессор, ничего подобного! Последний раз в 1899 году в Париже на Рю-де-ла-Пе.

– А почему вы позеленели?

Лицо пришельца затуманилось.

– Проклятая Жиркость! Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите, – бормотал субъект, ища глазами зеркало, – ведь это же ужасно! Им морду нужно бить, – свирепея, добавил он. – Что же мне теперь делать, профессор? – спросил он плаксиво.

– Хм... Обрейтесь наголо.

– Профессор! – жалобно восклицал посетитель. – Да ведь они же опять седые вырастут! Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не езжу. Приходит машина, я ее отпускаю. Эх, профессор, если б вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

– Не сразу, не сразу, мой дорогой! – бормотал Филипп Филиппович. Наклоняясь, он блестящими глазками исследовал голый живот пациента. – Ну, что ж, прелестно, все в полном порядке... Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата... «Много крови, много песен!..» Одевайтесь, голубчик!

– «Я же той, кто всех прелестней!..» – дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он,

подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

– Две недели можете не показываться, – сказал Филипп Филиппович, – но все-таки, прошу вас, будьте осторожны.

– Профессор, – из-за двери, в экстазе, воскликнул гость, – будьте совершенно спокойны, – он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпной звоночек пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тятнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

– Годы показаны неправильно. Вероятно, 54–55. Тоны сердца глуховаты.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеваной шее. Страшные черные мешки сидели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета.

Она очень сильно волновалась.

– Сударыня! Сколько вам лет? – очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.

Дама испугалась и даже побледнела под коркою румян.

– Я, профессор... Клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма...

– Лет вам сколько, сударыня? – еще суровее повторил Филипп Филиппович.

– Честное слово... ну, сорок пять.

– Сударыня! – возопил Филипп Филиппович. – Меня ждут! Не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздымалась.

– Я вам одному, как светилу науки, но клянусь, это такой ужас...

– Сколько вам лет? – яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули.

– Пятьдесят один, – корчась от страху, ответила дама.

– Снимайте штаны, сударыня, – облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.

– Клянусь, профессор, – бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, – этот Мориц... я вам признаюсь, как на духу...

– «От Севильи до Гренады...» – рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.

– Богом клянусь! – говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные проридались на ее щеках. – Я знаю, что это моя последняя страсть... Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод! – Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клочок.

Пес совершенно затуманился, и все в голове пошло у него кверху ногами.

«Ну вас к черту, – мутно подумал он, положил голову на лапы и задремал от стыда, – и стараться не буду понять, что это за штука, все равно не пойму».

Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.

Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.

– Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны, – объявил он и посмотрел строго.

– Ах, профессор, неужели обезьяны?

- Да, - непреклонно ответил Филипп Филиппович.

- Когда же операция? - бледнея, слабым голосом спрашивала дама.

- «От Севильи до Гренады...» угум... В понедельник. Ляжете в клинику с утра, мой ассистент приготовит вас.

- Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?

- Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого - пятьдесят червонцев.

- Я согласна, профессор!

Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась какая-то лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утихшим боком и теплом, даже всхрипнул и успел увидеть кусочек приятного сна: будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста... Потом взволнованный голос тьякнул над головой:

- Я - известный общественный деятель, профессор! Что же теперь делать?

- Господа! - возмущенно кричал Филипп Филиппович. - Нельзя же так! Нужно сдерживать себя! Сколько ей лет?

- Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить командировку в Лондон...

- Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.

- Женат я, профессор!

- Ах, господа, господа!..

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафу, и Филипп Филиппович работал не покладая рук.

«Похабная квартирка, – думал пес, – но до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужли же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта дрянь. Наглая».

Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновенье, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди, и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?» – неприязненно и удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на них, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие потоптались на ковре.

– Мы к вам, профессор, – заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся черных волос, – вот по какому делу...

– Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, – перебил его наставительно Филипп Филиппович, – во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прерывал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

– Во-первых, мы не господа, – молвил наконец самый юный из четверых – персикового вида.

– Во-первых, – перебил и его Филипп Филиппович, – вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первым тот, с копной.

– Какая разница, товарищ? – спросил он горделиво.

– Я – женщина, – признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших – блондин в папахе.

– В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной убор, – внушительно сказал Филипп Филиппович.

– Я не «милостивый государь», – возмущенно пробормотал блондин, снимая папаху.

– Мы пришли к вам, – вновь начал черный с копной.

– Прежде всего, кто это «мы»?

– Мы – новое домоуправление нашего дома, – в сдержанной ярости заговорил черный. – Я – Швондер, она – Вяземская, он – товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы...

– Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?

– Нас, – ответил Швондер.

– Боже! Пропал калабуховский дом! – в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

– Что вы, профессор, смеетесь? – возмутился Швондер.

– Какое там смеюсь! Я в полном отчаянии! – крикнул Филипп Филиппович. – Что ж теперь будет с паровым отоплением!

– Вы издеваетесь, профессор Преображенский!

– По какому делу вы пришли ко мне, говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

– Мы – управление дома, – с ненавистью заговорил Швондер, – пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.

– Кто на ком стоял? – крикнул Филипп Филиппович. – Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

– Вопрос стоял об уплотнении...

– Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от двенадцатого сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

– Известно, – ответил Швондер, – но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

– Я один живу и работаю в семи комнатах, – ответил Филипп Филиппович, – и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

– Восьмую? Э-хе-хе, – проговорил блондин, лишенный головного убора, – однако это здо-о-рово!

– Это неописуемо! – воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

– У меня приемная, заметьте, она же библиотека, столовая, мой кабинет – три! Смотровая – четыре. Операционная – пять. Моя спальня – шесть, и комната прислуги – семь. В общем, не хватает... Да, впрочем, это не важно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

– Извиняюсь, – сказал четвертый, похожий на крепкого жука.

– Извиняюсь, – перебил его Швондер, – вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли говорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых ни у кого нет в

Москве.

– Даже у Айседоры Дункан! – звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, но он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

– И от смотровой также, – продолжал Швондер, – смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

– Угу, – молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, – а где же я должен принимать пищу?

– В спальне, – хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

– В спальне принимать пищу, – заговорил он немного придушенным голосом, – в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать?! Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!! – вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. – Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию, и покорнейше прошу вас вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

– Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, – сказал взволнованный Швондер, – мы подаем на вас жалобу в высшие инстанции.

– Ага, – молвил Филипп Филиппович, – так? – Голос его принял подозрительно вежливый оттенок. – Одну минутку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, – в восторге подумал пес, – весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет! Не знаю еще, каким способом, но так тяпнет!.. Бей их! Этого голенастого сейчас взять повыше сапога за подколенное сухожилие... р-р-р!..»

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так:

– Пожалуйста... да... благодарю вас. Виталия Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Виталий Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Виталий Александрович, ваша операция отменяется. Что? Нет, совсем отменяется, равно как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них – одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами и терроризовали меня в квартире, с целью отнять часть ее...

– Позвольте, профессор, – начал Швондер, меняясь в лице.

– Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили, я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключ могу передать Швондеру, пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

– Что же делать?.. Мне самому очень неприятно... Как? О нет, Виталий Александрович! О нет! Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя бы... Но только одно условие: кем угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо иной не мог бы даже подойти к дверям моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага. Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, – змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, – сейчас с вами будут говорить.

– Позвольте, профессор, – сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, – вы извратили наши слова.

– Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

– Я слушаю. Да... председатель домкома... Мы же действовали по правилам... так у профессора и так совершенно исключительное положение... Мы знаем об его работах... целых пять комнат хотели оставить ему... ну, хорошо... раз так... хорошо...

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

«Как оплевал! Ну и парень! – восхищенно подумал пес, – что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить, как хотите, а отсюда я не уйду!»

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

– Это какой-то позор... – несмело вымолвил тот.

– Если бы сейчас была дискуссия, – начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, – я бы доказала Виталию Александровичу...

– Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? – вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

– Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем... Только... Я, как заведующий культотделом дома...

– За-ве-дующая, – поправил ее Филипп Филиппович.

– ...хочу предложить вам, – тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, – взять несколько журналов в пользу детей Франции. По полтиннику штука.

– Нет, не возьму, – кротко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.

- Почему же вы отказываетесь?

- Не хочу.

- Вы не сочувствуете детям Франции?

- Нет, сочувствую.

- Жалеете по полтиннику?

- Нет.

- Так почему же?

- Не хочу.

Помолчали.

- Знаете ли, профессор, - заговорила девушка, тяжело вздохнув, - если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы еще разъясим, вас следовало бы арестовать!

- А за что? - с любопытством спросил Филипп Филиппович.

- Вы ненавистник пролетариата, - горячо сказала женщина.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Честное слово (от фр. parole d'honneur).

Купить: <https://tellnovel.com/mihail-bulgakov/sobache-serdce-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)